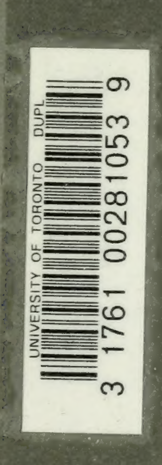
Alekseev, Mikhail Pavlovich
Rannii drug F. M. Dostoevskogo



М. П. АЛЕКСЕЕВ

# РАННИЙ ДРУГ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

MCMXXI

ВСЕУКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОДЕССА

23/XI 1922.

М. П. АЛЕКСЕЕВ

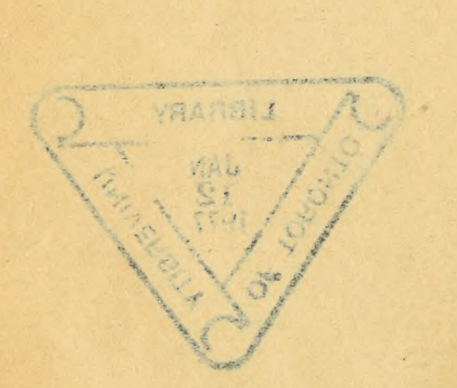
# РАННИЙ ДРУГ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО



MCMXXI

ВСЕУКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОДЕССА



Р. В. Ц. Одесев. Зак. № 1303-20011. 1500 экз. 8 ков. тип. Одесса,
ул. Ленина, № 49. 1921.

Дружба Ф. М. Достоевского с И. Н. Шидловским, история их бесед и встреч известна лишь из нескольких писем Ф. М. Достоевского брату Мих. Михайловичу, в которых живыми и верными чертами набросан образ его раннего друга. Но эти письма еще до сих пор не были комментированы, и все обстоятельства этой дружбы, ее значение и характер не были еще выяснены с достаточной отчетливостью. Дружба эта окрепла в атмосфере их общего тяготения к литературным занятиям, страстного интереса к творчеству, книге, культу внутренней жизни. Она была в числе важнейших факторов, определивших первые книжные увлечения Ф. М. Достоевского и все уклоны его юношеского романтизма. В значительной степени она определила также содержание и форму ранних творческих замыслов Достоевского —его драматических опытов, и навсегда осталась для него памятной.

Своему биографу Достоевский говорил в 70-х годах: „Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает, и что он не оставил после себя литературного имени,

ради Бога, голубчик, упомяните, это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы имя его не пропало" [1]). По рассказам Достоевского Шидловский был человек, в котором мирилась бездна противоречий: он имел громадный ум и талант, не выразившийся ни одним писанным [2]) словом и умерший вместе с ним. Кутежи и пьянство не помешали его пострижению в монахи. По свидетельству Анны Григорьевны Достоевской, Ф. М. однажды заявил Владимиру Соловьеву: „Знаете-ли, Владимир Сергеевич, за что я вас так люблю? Вы напоминаете мне одного человека, который в дни моей молодости имел на меня самое благодетельное влияние Его звали Шидловский. Мне часто кажется, что душа его переселилась в вас" [3]). В своеобразной личности Шидловского, которая, бесспорно, может показаться значительной и вне тех пределов, какие отведут ему страницы биографии Достоевского, действительно было много неотразимо-привлекательного; к сожалению, мы мало знаем и его самого, и странную историю его жизни: эпоху его романтической юности, преображенную в свете бредовых мечтаний; его первые литературные опыты — стихотворения и

---

[1]) *Вс. С. Соловьев.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском. —„Историч. Вестн." 1881, кн. III, стр 608.

[2]) Здесь очевидная описка Соловьева: следовало сказать—„печатным".

[3]) За сообщение этого любопытного известия и нескольких архивных данных о Шидловском приношу благодарность Л. П. Гроссману.

драмы, обязанные той же сфере романтических идей; годы скитальчества и напряженных религиозных исканий, когда смиренное послушничество в монастыре, самоотречение, проповеди, произносимые по деревням и большим дорогам, внезапно сменялись кутежами и вспышками буйного веселья.

Рукописная заметка Л. В. Шидловской, хранящаяся в Московском Историческом Музее, среди бумаг Достоевского, сообщает о нем следующее: „Иван Николаевич Шидловский родился 27-го ноября 1816 г., учился в Харькове, где окончил юридический факультет очень молодым человеком, после чего, переехав в Петербург, поступил в министерство финансов. В это время он и познакомился с отцом М. М. и Ф. М. Достоевских, приехавшим в Петербург для помещения сыновей в учебное заведение. В Петербурге И. Н. Шидловский прожил недолго. Здоровье его не выдерживало Петербургского климата, но вскоре он вышел в отставку и поселился в деревне у матери [1]). Дома он занимался какой-то большой работой и говорил, что готовит Историю

[1]) По свидетельству *Н. Решетова* („Русск. Арх.", 1886, кн. X, стр. 226), Шидловский „в 1840 г. вышел в отставку и поселился вместе с матерью и сестрою в слободе Грушевке, Бирючинского уезда". В хронологии, однако, существует недоразумение: из писем Ф. М. Достоевского к брату видно, что в январе 1840 г. Шидловского д а в н о уже не было в Петербурге; тогда же Достоевский пишет брату: „Ежели бы ты видел его прошлый год. Он жил целый год в Петербурге без дела и без службы". („Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского". Спб. 1883, стр. 14).

Русской Церкви. Но ученая работа не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим— вот предположительно те причины, которые побудили его в 50-х годах поступить в Валуйский монастырь. Не найдя, повидимому, и здесь удовлетворения и нравственного успокоения, он предпринял паломничество в Киев, где он обратился к какому-то старцу, который посоветовал ему вернуться домой в деревню, где он и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. По сохранившимся в семье Шидовского воспоминаниям — это был человек выдающегося ума и блестящего остроумия. С умом он соединял обширное образование и глубокие научные сведения. Его странная, исполненная всяких превратностей жизнь свидетельствует о сильных страстях и бурной природе. На окружающих он производил впечатление человека необыкновенного. Его влияние в обществе и частной беседе было неотразимо. Глубокое нравственное чувство Ив. Ник-ча стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками: искренняя вера и религиозность сменялись временным скептицизмом и отрицанием. Эту сторону в характере Шидловского, эту двойственность его натуры верно подметил Ф. М. Достоевский. Умер И. Н. 14-го июня 1872 г. у себя в имении".

Ряд фактических сведений, сообщенных в этой краткой биографической заметке, опровергает несколько легенд, сложившихся вокруг его име-

ни[1]). Дополнительные сведения дают воспоминания Н. Решетова[2]). По возвращении из Петербурга в деревню Шидловский часто приезжал в город Корочу, к своим братьям, служившим тогда в Рижском драгунском полку, принимал участие в офицерских вечеринках, в кутежах и попойках. К огорчению своей матери, он забросил дела по управлению имением, по временам облекался в376 странническую одежду, уходил из дому и посещал монастыри. „Личность Ивана Николаевича, пишет Решетов, была во многих отношениях весьма примечательна и выдавалась из ряда обыкновенных, начиная с наружности: это был очень высокий, красивый мущина с прекрасным выражением в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме и хорошем образовании, всеобщее расположение. Главное, что привлекало к нему всех, было его замечательное красноречие. Он был идеалист, и любимой его темой для разговоров служили большей частью предметы отвлеченные: к тому же он был поэт, писал стихи так же легко и свободно, как говорил. Впечатление, производимое Иваном Николаевичем на слушателей, действовало обаятельно,

[1]) Так, очевидной легендой оказывается следующее известие, сообщенное *Вс. Соловьевым* яко-бы со слов Достоевского: „Умирая, он сделал Бог знает что: он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандалов он сделал себе кольцо, носил его постоянно и умирая—проглотил это кольцо". „Историч. Вестн.", 1881, кн. III стр. 608

[2]) „Люди и дела минувших дней": „Русск. Арх.", 1886 кн. X, стр. 226—228.

что я сам на себе испытал, бывши в то время двадцатилетним юношей... Он обладал удивительной памятью, отлично декламировал стихи, был страстный поклонник Пушкина и многие его стихи знал наизусть". Последний раз Решетов видел Шидловского „при довольно странной, но живописной обстановке": „это было весною, ранним утром, при восходе солнца, в степи, на Муравском шляхе, где стоял на границе Харьковской губернии шинок. Подъезжая к нему, я увидел толпу крестьян, мущин и женщин, а посреди них человека высокого роста в страннической одежде, в котором я немедленно узнал Ивана Николаевича Шидловского. Он проповедывал Евангелие, и толпа благоговейно его слушала: мущины стояли с обнаженными головами, многие женщины плакали".

Сопоставление всех этих скудных известий не раскрывает нам вполне образ этого своеобразного человека: нам даны лишь общие очертания, которые все же позволяют говорить об его типичности для 30-х годов. Судьба его—не единственный пример русского романтика, обратившегося на путь религиозных исканий и пришедшего в келью русского монастыря для того, чтобы сосредоточенностью молитвенного созерцания победить в себе гордыню романтического самоутверждения. Здесь интересно вспомнить хотя бы А. П. Бочкова, блестящего и жизнерадостного светского человека, почитателя Бестужева - Марлинского и романтической литературы, напечатавшего несколько повестей, но впо-

следствии круто повернувшего свою жизнь и поступившего в начале 1837 г. в Сергиевский монастырь, имея лишь 30 лет от роду [1]); судьбу В. С. Печерина, религиозное обращение которого в значительной степени обусловлено было романтической настроенностью его мысли [2]). Интересно подчеркнуть, что 30-ые годы в русской литературе—момент несомненного религиозного подъема и возбуждения. Страстная тоска по религиозному преображению мира, красной нитью проходящая через всю историю немецкого романтизма, отзывается в России именно в эту пору, в эпоху наибольшего влияния немецкой идеалистической философии, когда такой страстной повышенности достигает ощущение торжественности жизни и томление к иным бытиям. В 1836 году рецензией на книгу А. Н. Муравьева „Путешествие к святым местам" начинает свою литературную деятельность И. С. Тургенев. Герцен эпохи ссылки в Вятке и дружбы с Ф. А. Витбергом в „жизни для водружения креста, для искупления человека" видит „высшее выражение общественности", здесь же в Вятке он вновь принимается за свою „Легенду о св. Феодоре", переработанную из жития мартиролога Метафраста; религиозное возбуждение звучит в лирике Лермонтова и Огарева; и тот и дру-

---

[1]) Краткие биографические сведения и указания на литературу об А. П. Бочкове см. в статье *Н. Пиксанова* „Грибоедов и Бестужев". „Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. И. Акад. Наук". 1906, кн. 4, стр. 57.

[2]) *М. Гершензон*. Жизнь В. С. Печерина. М. 1910.

гой встречают на Кавказе декабриста А. И. Одоевского, религиозной просветленностью своего миросозерцания смягчившего себе тяжесть изгнания; Полежаев с суеверным ужасом признается в своем „атеизме и лжесофизме“ („Ожесточенный“ и „Провидение“). В то же время Н. А. Полевой, по отзыву его брата „ищет и находит свое утешение в религии“, а Шевырев призывает к нравственной чистоте, закланию страстей, обету и апостольству. В лоне русского романтизма рождается и славянофильская доктрина.

С этой стороны—сложный путь подвижничества Шидловского, на широком общественно-историческом фоне кажется исторически-обусловленным, тесно-связанным с корнями русского романтизма. Но мы не знаем личной истории его внутренней борьбы, исканий, сомнений, наконец, тех внутренних причин, которые их вызвали. Портрет Шидловского, набросанный Решетовым, относится к средине 40-х годов. Достоевский знал, любил и навсегда запомнил Шидловского более молодых лет, почти еще юношу, той поры, когда лишь обозначалась странная антиномичность его души [1]). Независимый,

---

[1]) Знакомство братьев Достоевских с Шидловским относится к концу 1837 года (точнее—вероятно, к августу месяцу). 23 июля 1837 г. Ф. Достоевский пишет отцу: „С Шидловским мы еще не видались и, следовательно, не могли отдать ему вашего поклона“. Однако 6-го сентября 1837 г. он вновь пишет отцу: „С Шидловским мы не видались долгое время. Только нынче провели с ним час в Казанском соборе“. В период особенно интенсивной дружбы Достоевского и Шидловского—зимою 1839 года—Достоевскому было 18 лет, Шид-

гордый, измученный любовью и нестерпимой тяжестью поэтиворечий, от вспышек мятежной, буйствующей страсти переходивший к покаянному смиренномудрию, он жил еще на своей бедной петербургской квартирке, куда поздними вечерами ходил Достоевский—слушать стихи, вести дружеские беседы, мечтать о будущей славе. Образ Шидловского выигрывает в своей значительности и в своем своеобразии, когда он встает из нескольких ранних писем Достоевского к брату, в оживленной характеристике, согретой чувствами подлинной дружеской приязни и настоящего восхищения перед своим наставником и другом. Несколько страниц этих писем, взволнованный рассказ о совместной петербургской жизни—навсегда останутся лучшим источником наших сведений о раннем друге Достоевского и лучшей данью его памяти,—сколько бы мы не отнесли в этом рассказе на счет идеализма освещения, недостоверности слишком дружеских приговоров, неизбежной субъективности характеристики.

---

ловскому—23. Случайные упоминания в письмах не дают возможности восстановить, хотя бы приблизительно, внешнюю историю этой дружбы. Из некоторых намеков, между прочим видно, что несколько недружелюбно относился к Шидловскому Мих. Михайлович. Ф М. не раз берет на себя защиту его драм и поэтических произведений, доказывая брату пристрастность его скептических отзывов. Случайные перерывы в встречах Достоевского с Шидловским относятся лишь к периоду подготовки Ф. М. к экзаменам и ко времени его болезни. В январе 1840 г. Достоевский уже пишет брату: „Теперь он уже давно уехал“. См. „Письма“... стр. 4, 5, 7, 9, 14—16.

В отрывке письма Шидловского Мих. Мих. Достоевскому от 17-го января 1839 г., цитуемом Ор. Миллером[1]), уже ясно различима та двойственность его характера, о которой Ф. М. Достоевский говорил в 70-х годах. „Ваша поэзия, пишет Шидловский, своим изящным характером возвращает меня к младенчеству, к той простоте, чуждой современного суемудрия, байроновского бешеного эгоизма, без которой нельзя внити в Царствие Божие. Полевой чудесно выразился при мне однажды, что на человека надобно смотреть как на средство к проявлению великого в человечестве, а тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется, и прошлые добродетели, случайные пороки сгинут". Сердце его все чаще „нагревается... теплом веры и смирения", но минутами им овладевает внезапная решимость, и тогда „дно моей милой Фонтанки" манит его страстно, как „брачный одр обрученного". Это письмо относится как раз к той петербургской зиме, когда Достоевский поздними вечерами пробирался к нему на его бедную квартиру, невольно вспоминая при этом о грустной зиме Онегина в Петербурге. „Только передо мною, пишет он, не было создания, пламенного мечтателя поневоле, но прекрасное, возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер; но он уже готов был тогда впасть в мрачную манию характеров байроновских. Часто мы

---

[1]) „Письма", стр. 12.

с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем! О, какая откровенная, чистая душа! У меня льются теперь слезы, когда вспоминаю прошедшее! Он не скрывал от меня ничего, а что я был ему? Ему надо было сказаться кому-нибудь; ах! для чего тебя не было при нас"[1]). Целыми вечерами он слушает его стихотворения: „А лирические стихотворения! О, ежели бы ты знал те стихотворения, которые написал он прошлою весною. Например, стихотворение, где он говорит о славе. О, ежели-бы ты прочел его, брат". „Сколько поэзии, сколько гениальных идей!" говорит он в другом месте[2]), вспоминая о стихотворных опытах своего друга.

Случайные обломки поэтического творчества Шидловского, дошедшие до нас[3]), дают ряд характерных образцов того поэтического рода, которым так увлечен был юноша — Достоевский. Стихотворения Шидловского вводят нас в знакомую сферу романтизма 30-х годов, со всеми типическими признаками его поэтики и стиля. Их могут характеризовать реторическая нагроможденность, склонность к употреблению неологизмов, явное пристрастие к утвердившимся в поэзии этой поры формулам страсти и чувства.

---

¹) Ibid., стр. 12.

²) Ibid., стр. 12.

³) Шесть стихотворений Шидловского помещены в приложении к воспоминаниям Н. Решетова. „Русск. Арх." 1886, кн. X, стр. 228—232.

Любовь, охватившая душу поэта, становится преизбычествующей и безмерной. Она достигает предельной, почти стихийной силы, исключает всякую мысль о жизни и смерти.

Ведь я волкан! Огонь—моя стихия!
Захочешь ли, возможешь ли любя,
Отвергнуть все влечения другие?
Я чувствовать иначе не могу,
Я не могу предаться вполовину:
Объятием как молнией сожгу,
Лобзанием из груди сердце выну...
О, полюби-ж, не думая куда
Нас поведет сочувствие святое.
Что жизнь и смерть? Какая в них нужда?
И здесь, и там нас двое, вечно двое!

Так и в другом месте Шидловский подчеркивает эту исключительность, безмерность чувства, стирающую грани растояния и времени.

Ни расстояние, ни время
Все разделяя, все губя
Моей любви святое бремя
Отвлечь не властно от тебя.

„В ее любви сознать себя сполна" — таково желание поэта. Его душа —

...как коршун плотоядный
Паря над жертвою его
Повсюду ловит думой жадной
Миг пребыванья твоего.

Мятежная сила любви наполняет все сердце поэта. Он не знает половинных страстей, умерен-

ности чувства. Он любит облака, и, как поэты его поколения [1]), следя за их полетом, прибегает к параллелизму:

Куда стремитесь вы, гульливые станицы
Прозрачных, бланжевых, румяных облаков?
Какие дальние безвестные границы
Манят вас ласково, как мать своих птенцов?

Вот на краю небес вы тесно состадились
Остановившися в раздумьи, и на вас
Заката яркие лучи переломились,
Сияньем полося все небо, как атлас.

И рядом бронзовым роскошных изваяний,
Хитона Божьего каймою накладной,
Вы мне являетесь, и на крылах мечтаний
Я посылаю вам привет любви святой.

---

[1]) Уже *Г. Мандельштам.* (О характере Гоголевского стиля, Гельсинфорс, 1902, стр. 44) предлагал сравнить „тождественность поэтических выражений" отрывка из Шиллеровой „Марии Стюарт" („Eilende Wolken, Segler der Lüfte"...), стихотворений Грейфа („Die Wolken wandern so mächtig"...) и Лермонтова („Тучки небесные"...). Однако здесь дело не в „заимствованиях", но в той удачной выразительности этого сравнения, какая делает его излюбленным в романтическую эпоху, благодаря чему он делается ходячим и общеупотребительным. Аналогичные примеры таких принадлежащих определенной литературной эпохе и странствующих образов, процесс зарождения и жизни которых интересно было-бы изучить особо: „челнок погибающего пловца в море житейском", „листок, оторвавшийся от родимой ветки". Для темы „пролет облаков--судьба поэта" ср. еще помимо многочисленных вариаций у Лермонтова: „Облако" Марлинского (Соч., т., XI), „Облака" В. Бенедиктова (Стих. СПБ. 1856, I, 159).

Но что сдержало вас? Над чем глубокой думой
Вы призадумались в той ясной стороне?
Не над Эльвиной-ли, к кому мой дух угрюмый
Стремится наяву, стремится и во сне?..

Столь же типична его склонность к изображению грозовых пейзажей, заставляющая его невольно их образы применять к языку чувства („душевной молнии несчетные рои“, „о, расскажите ей палящими громами“).

Буря воет, гром грохочет,
Небо вывалиться хочет;
По крутым его волнам
Пляшет пламя там и сям,
То дробясь в движеньи скором,
Вдруг разбрызнется узором,
То исчезнет, то опять
Станет рыскать и скакать.
Ах, когда-б на крыльях воли
Мне из жизненной юдоли
В небеса откочевать,
В туче место отобрать,
Там вселиться, и порою
Прихотливою рукою
Громы чуткие будить
Или с Богом говорить...

Такова дерзновенная мечта романтического поэта, утверждающего свою личность над „жизненной юдолью“, неизменно убежденного в том, что божественно-прекрасен подлинный образ человека, но презренна и оскорбительна правда действительности.

Но среди стихотворений, отражающих мятежную силу его чувств, есть одно, датированное 6-м

декабря 1842 года, более спокойное и более значительное по своему философскому смыслу. Оно как бы фиксирует всю трагедию его личности и намечает весь путь его душевных невзгод, мятущегося между двумя полюсами религиозного самоотречения и романтического самоутверждения.

...Пусть буря страшная извне
Грозит бедой опустошенья
В числе других людей и мне:
В моей душевной глубине
Довольно якорей спасенья.
Я непременно устою
В переворотах всякой бури;
Бог, кормчий мой, стрежет ладью;
Звезду вожатую мою
Он теплит явно так в лазури.
Он не к Себе-ль ведет меня,
Отец, всемощный Покровитель?
Дождусь я радостного дня;
И вечность, время заменя,
Отворит мне свою обитель.
И там, в сияющих дверях
Меня приемлющего рая,
Я оглянусь с тоской в глазах
С улыбкой скорбной на устах,
Проплытый путь благословляя.
И перед новостью отрад
Смущаясь робкою душою,
Проситься вздумаю назад,
Прошедшим бурям стану рад,
Вздохну о жизни со слезою...

Этот „вздох о жизни“ и радость буре на пороге райской обители преследовали его и в минуты

покаяния, и тогда, когда он искал утешения в смиренной молитве. Именно здесь, в этом борении его души —все своеобразие его личности. Отсюда и его стремление согласовать мятежность личной воли с томлением к иному миру, видение которого непрерывно посещает романтическое сознание.

Характерно, что стихотворения Шидловского производили на Достоевского сильнейшее впечатление. Его не мог не поразить и увлечь страстный образ чувствований поэта и вся его сосредоточенная религиозная философия, облеченная в подвижные формы боевого романтизма. Современник говорит про стихотворения Шидловского, что они „с увлечением читались и выучивались наизусть его поклонниками, хотя и тогда казались несколько восторженными, а некоторые выражения, встречающиеся в них, своеобразными, но и это приписывалось блистательной фантазии и оригинальности поэта и выкупалось звучностью и мечтательным направлением, в то время распространенным в этом кругу"[1]). Поколение, рукоплескавшее Полежаеву и Бенедиктову—столь же восторженно должно было отнестись и к творчеству Шидловского. Достоевский, напитанный романтической литературой, не мог составить исключения.

Но то, что не могли ему дать и общие идеи времени, и оценки современников — восполнили личная дружба, беседы и встречи, которые всегда

---

[1]) *Н. Решетов.* op cit. стр.. 228.

могут сделать невнимательным к мелким погрешностям стиля.

Но, конечно, не столько поэта, сколько человека и друга любил Достоевский в Шидловском. Влияние личной дружбы может быть сильнее влияния книги; в данном случае оно было бесспорным и сильным. Достоевский хорошо усвоил характернейшую мечту романтического миросозерцания, которая отчетливо высказалась и у Шидловского— мечту уйти от действительности, однозвучного житейского шума, будничной житейской обстановки, замкнувшись в святилище личной чувствительности или в атмосферу личной страсти. Эта черта неизменно присутствует у Достоевского во всей переписке этого периода. С некоторыми оговорками Достоевский повторяет также идею Шидловского о „байроновском бешеном эгоизме". „Послушай, пишет он брату, мне кажется, что слава также содействует вдохновению поэта. Байрон был эгоист; его мысль о славе была ничтожна и суетна... Но одно помышление о том, что некогда за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновение, как таинство небесное освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась бы в душу поэта и в самые минуты творчества. Пустой же крик толпы ничтожен", и он вспомнил два стиха пушкинского „Поэта"[1]).

---

[1]) „Письма"... стр. 11.

Мечта уйти от действительности принимает своеобразную окраску не эгоистического самоутверждения, но некоторой жертвенности. И эта жертва за отказ от действительности и общества — творчество. Но здесь ясно присутствует и другая черта романтического миросозерцания: быть выше толпы профанов дано только поэту, художнику, творцу, и потому,—да будем творцами, поэтами, художниками: такова философия любого парижского поэта 1830-х годов. Единственное ремесло, пригодное для романтического сознания — ремесло писателя, художника, артиста: все прочие осуждены, потому что служат житейской необходимости. Не даром у Достоевского этой поры столько романтического презрения и гордого самопризнания. В центре его мечтаний, посреди частых отвлечений к фортификации, маршировкам, фронту — неизменная мечта о большом литературном труде, на который пошло бы много лет упорной и утомительной творческой работы. Наконец, труд издается и приносит заслуженную награду—эта мечта типична[1]). Он пишет брату: „Говоришь, что у тебя есть мысль для

---

[1]) *Стендаль* писал в юности: „Надо, чтобы, я дошел до полнейшей беззаботности, чтобы не написать „Двоих". Написав эту пьесу я имел бы все в изобилии,—общество, деньги, славу, — я не чувствовал бы недостатка ни в чем". „Мне стоит только написать „Двое" и через год или полтора у меня будет все это". *Л Мегрон*. Романтизм и нравы, русск. перев. М. 1914, стр. 89—90. Ср. *Достоевского*: письмо к брату 16-го ноября 1845 г. „Письма"... стр. 41.

драмы... Радуюсь... Пиши ее... О, ежели бы ты лишен был и последних крох с райского пира, что тогда тебе оставалось бы"[1]). Этот „райский пир" — типическая аллегория литературной работы, единственно достойной, единственно необходимой. Конечно, юному романтику, голову которого все время озаряют мечты о больших литературных работах, в конце концов может опротиветь казарма, учение. ненавистные предметы, фронт, уставы[2]). Он может припомнить молодость Шиллера, и свой „инженерный замок" он невольно приравняет к герцогской Karls-Schule, в которой томился будущий автор „Разбойников". Иные из его выражений, встречающиеся в письмах, типичны для лексикона романтиков: „Хотелось бы раздавить весь мир за один раз", „я был un enragé", „давно я не испытывал взрывов вдохновения", „часто бываю в таком состоянии, как помнишь, Шильонский узник после смерти брата в темнице" и т. д. Даже в отношении Достоевского к родственникам сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвященным.

Дружба Шидловского с братьями Достоевскими навсегда определила их интерес к литературным занятиям. Достоевский восторженно отзывается о драме Шидловского „Мария Симонова", переделкой которой он занят был зимою 1839 года, приветствует драматический замысел своего брата, и, как известно, вскоре сам пытается одно за другим

[1]) Письма, стр. 11.

[2]) См. письма 1839—1840 годов.

создать три драматических произведения[1]). Глубоко-значительное настроение громадной ответственности, светлой радости, энтузиазма, лишь изредка прерываемое отвлечениями к презренной реальности, владеет Ф. М. Достоевским в эту пору. Атмосфэра напряженного идеализма, в которой жили юные романтики, была еще более усилена их чтениями, в центре которых был Шиллер. Для всего поколения 30-х годов он был тем признанным вожатым, творчеством которого питались, и в атмосфере которого крепли все тревожные порывы мечтательности и туманного идеализма. Письма и признания Станкевича, Белинского, Огарева, Герцена, Погодина, Печерина полны впечатлений от чтения Шиллера. В „Дневнике писателя“ 1876 года Достоевский с полным правом мог сказать, что Шиллер „в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил“[2]). Дружба Шидловского с Ф. М. Достоевским

---

[1]) Подробнее об этом см. в моей статье: „О драматических опытах Ф. М. Достоевского“ в сборн. „Творчество Достоевского“ Одесса, 1921, стр. 46—47.

[2]) Соч., кн. X, стр. 205. Еще в 1857 году *А. В. Дружинин* высказывал мнение, что в России влияние Шиллера „не было широким и увлекающим“. Собр. соч. Спб. 1865, т. VII, стр. 376—377, но он должен был оговориться, что если оно „не могло назваться великим“, то „было все таки глубоко и плодотворно“. По словам Анненкова, „Resignation“ Шиллера Станкевич вспоминал беспрестанно; Герцен в героях Шиллеровых драм узнавал себя самого: „мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу“. Погодин за-

была также освящена, поддержана и закреплена в атмосфере Шиллеровского культа. Шиллер был тем центром, откуда выводилась вся система дружеских отношений. Позднее, в эпоху „Времени" (1861), к одной из полемических заметок, писанной в сотрудничестве со Страховым, он ставит Пушкинский эпиграф: „Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви". В этих словах привета, обращенных к Кюхельбекеру, Пушкин начертал как бы программу тех дружеских бесед, какие проходили под общим знаком Шиллера. Ее повторили Достоевский и Шидловский, и около того-же времени, Герцен и Огарев, дружба которых была осмыслена и окрепла в атмосфере тех же Шиллеровых идей. Достоевский писал о Шидловском: „Он жил целый год в Петербурге без дела и без службы. Бог знает для чего он жил здесь; он совсем не был так богат, чтобы

---

мышлял переводы из Шиллера и „восхищаясь многими местами" также находил „какое-то сходство Шиллера с собою"; *Барсуков.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. I, стр. 234, 287; *М. Гершензон.* Жизнь В. С. Печерина, М 1910, стр. 11—12. Об отношении Достоевского к Шиллеру см. *Л. Гроссман.* „Достоевский и Европа" („Русск. Мысль" 1915, кн. XI, стр. 65) и *его-же* „Библиотека Достоевского" Од. 1919. Сводные данные о Шиллеровском влиянии в русской литературе XVIII—XIX вв. в поверхностной статье *Ю. Веселовского,* Шиллер, как вдохновитель русских писателей. „Литер. Очерки" М. 1910 т. II; о влиянии Шиллера на развитие идеи дружбы в быту: *Fr. Kirschner.* Buch der Freundschaft. 1891. *Н. Тихомиров*—Дружба в изображении Шиллера—„Богословск. Вестник" 1905, кн. VI—VII.

жить в Петербурге для удовольствий. Но это видно, что именно для того он и приезжал в Петербург, чтобы убежать куда-нибудь. Взглянуть на него, это мученик! Он иссох, щеки впали, влажные глаза его и сухи и пламенны. Духовная его красота возвысилась с упадком физической. Он страдал! Тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку! Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии". „О, ежели-бы ты знал те стихотворения, которые он написал прошлою весною. Например то стихотворение, где он говорит о славе". „В последнее свидание мы гуляли с ним в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер, вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, о Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором мы столько говорили, столько писали. Мы говорили, с ним о нас самих, о будущем, о тебе, мой милый"... ‚Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни". „Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им, и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как мне дала узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни. Никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного дон-Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне

и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний“[1]).

Легкий покров таинственности лежит на страницах этих еще свежих воспоминаний („О, сколько тогда случилось и странного и чудесного в моей жизни. Это предолгая повесть, и я ее никому не расскажу“; „теперь я вечно буду молчать об этом“...). В письме, полном самой дружеской откровенности и подлинного лиризма, Достоевский и то как бы не решился с исчерпывающей полнотой рассказать всю недолгую, но внутренне-значительную историю своей дружбы... Она укрепила в нем его интерес к романтической литературе, то повышенно-страстное настроение мессианизма, страстной порывистости и утонченной чуткости, которые составляют особен-

---

[1]) „Письма“... стр. 11—16 (Письмо от 1 янв. 1840 г.) *Ор. Миллер* в „Материалах для жизнеописания“... „Биогр. письма“... стр. 39 относит это место к Бережецкому, другому школьному товарищу Достоевского. Скудные данныя сообщают о нем воспоминания А. И. Савельева. Скромный, тихий, незаметный, Бережецкий вполне поддался идейному влиянию Достоевского; у нас, однако, нет никаких указаний на то, насколько значительной для Достоевского была эта дружба. Правильнее было бы это место отнести к Шидловскому, так как его одного он все время имеет в виду, повествуя брату о событиях своей жизни. Нервный тон повествования вероятно смутивший Ор. Миллера, мог быть вызван общей возбужденностью Достоевского при воспоминаниях о слишком скоро прерванной, но дорогой для него дружбе.

ность романтического мироощущения и которые с громадной силой звучат в его ранних письмах и в некоторых его первых повестях. Наконец, дружба эта могла укрепить мечту Достоевского о религиозном преображении мира, истоки которой нужно искать в том же русском романтизме, отразившем соответствующие движения европейской мысли... Недаром Достоевский не забыл своего раннего друга: он вспоминал о нем и на закате своей жизни, оглядываясь назад и подводя итоги всему своему жизненному пути. Образ Шидловского, быть может, носился перед его глазами еще тогда, когда он создавал свою „Хозяйку" (Ордынов); быть может, некоторые его черты вспомнились Достоевскому при характеристике Кириллова. Во всяком случае, в биографии Ф. М. Достоевского история его дружбы с И. Н. Шидловским должна занять свое место. Этого хотел он сам. Но к этому обязывает и своеобразная личность его друга, которая не могла не оставить глубокого следа на впечатлениях юного романтика, каким был Достоевский к концу 30-х годов.[1])



[1]) Опубликование всех относящихся к Шидловскому материалов было бы очень желательно. М. Е. Слабченко любезно сообщил нам, что связка бумаг Шидловского находится в архиве Харьковского Университета.